



Н. А. ОЦУП

Ф. И. Тютчев

5 декабря 1928 года исполнилось сто двадцать пять лет со дня рождения великого русского лирика.

К этой дате был приурочен выход альманаха «Урания» и появление юбилейных статей в некоторых повременных изданиях. Несколько раньше празднования, но тоже не без связи с ним, опубликованы новые материалы о поэте в «Мурановском сборнике».

К юбилею же можно отнести появление работы Г. Чулкова «Последняя любовь Тютчева».

Это оживление в литературе о поэте, само по себе ценное, конечно, все же менее значительно, чем другое явление: не только юбилейный год, но и все почти предшествующие (приблизительно с начала нашего века), непрерывно прибавляли что-нибудь к Тютчевiane. Даже все катастрофы и потрясения последних лет не могли уже поколебать своего рода культ тютчевской лирики. Если юбилей поэта не стал его триумфом, если популярность Тютчева не возросла, то лишь потому, что слава его уже лет двадцать-тридцать назад нашла свои окончательные пределы.

Не соперничая в блеске и всенародности с пушкинской, — тютчевская слава так же бессмертна и, может быть, даже еще более незыблема.

Пушкин — в мире, стихи его сопутствуют жизни, не отставая от нее, но и не ища над ней возвыситься.

Поэзия Тютчева хочет совпасть с абсолютным, она ищет «недостижимого, неизменного», того, что пребывает над миром или на самой последней его глубине.

Эта поэзия — «как ночью на небе звезда».

Медленно и как бы с величайшим трудом находила она дорогу к достойному ее признанию, которое, быть может, справедливее всего связать с появлением статьи Владимира Соловьева. Эта статья и по сей час остается одной из наиболее глубоких работ о поэте и, подводя какие-то итоги недавнему юбилею и не забывая, что он — лишь момент в «посмертной жизни» Тютчева, — всего естественнее говорить о соловьевской статье, хотя и написанной более тридцати лет назад, но давшей едва ли не самое спорное, знаменитое и блестящее определение истоков тютчевской лирики.

Несколько слов хочется все же сказать сперва об одной из работ, наиболее актуальных.

Это — исследование Л. В. Пумпянского, напечатанное вступительной статьей в юбилейном альманахе «Урания».

Основные положения автора таковы: Тютчев в своей поэтике — прямой наследник Державина, в своем мировоззрении он — ученик немецких философов, главным образом, Шеллинга. Для первого утверждения автор воспользовался исследованиями формалистов (Тынянова, Эйхенбаума), второе он делает на основании своих собственных умозаключений.

Удивляет в интересном и ценном исследовании Пумпянского одно его свойство, отличающее, впрочем, все работы формалистов и других авторов, близких к этой школе.

Пумпянский как будто забывает, что, кроме некоторых аналогий с поэтикой Державина и философией Шеллинга, есть у Тютчева еще что-то свое, то, без чего и не было бы его лирики. Это главное организующее начало, эту «душу живую» исследователи последних лет, с кажущейся скромностью, определяют, как нечто, не подлежащее их компетенции, и отделяются, таким образом, от центральной критической задачи. Прием, непонятный особенно у тех авторов, которые, как Пумпянский, пытаются охватить явление во всей его глубине.

Автор статьи на словах отрекается от формальной школы, но и его работа сводится, в общем, к описанию слагаемых тютчевского творчества. В ней целое как бы опущено. Можно подумать, что автор предоставляет читателю самому проделать сложение: из Державина плюс Шеллинг плюс мысли Пумпянского о романтике и барокко будто бы автоматически получается сумма: поэзия Тютчева.

Положение затрудняется еще тем, что далеко не все слагаемые тютчевской лирики Пумпянским указаны. Так, внешних аналогий у Тютчева и Державина, наверно, не больше, чем у Тютчева и Пушкина.

Об этом Пумпянский не сказал ни слова. Сопоставив мироощущение Тютчева и некоторых немецких философов, Пумпянский нигде не упоминает Паскаля. Между тем трудно предполагать, что поэт, заимствовавший у автора «Мыслей» один из его лучших образов («L'homme est un roseau pensant» — «и ропщет мыслящий тростник») и совпадающий с Паскалем в тоне и волнении целого ряда строчек, — был совершенно чужд его философии¹.

Но и не здесь, конечно, ключ к поэзии Тютчева. Ни Шеллинг, ни Паскаль, ни Державин, ни Пушкин сами по себе ничего еще в тютчевских стихах не объясняют.

Мысли близких философов, слова или образы родственных лириков утрачивают прежнее сцепление и находят новое, доселе невиданное значение в творчестве подлинного поэта.

Это чудо преображения Пумпянский не пытается описать. Оттого собранный им материал и кажется всего лишь подготовительным для какой-то последующей, более смелой и творческой работы. Но, несмотря на это, зоркость к деталям, терпеливый анализ и ум автора заставляют выделить его работу из всей юбилейной литературы о Тютчеве.

Совершенно обратны методы несоизмеримой по значению, несовременной и, тем не менее, замечательной статьи Соловьева.

Владимир Соловьев «открыл» Ф. И. Тютчева в 1895 году. Честь этого открытия едва ли умаляется тем, что за много лет до того, еще при жизни поэта, его великий дар был уже отмечен и превознесен Некрасовым, Тургеневым, Фетом: они не ставили себе задачей проникнуть в самое средоточие тютчевской лирики. Они просто обращали внимание читателей на замечательные стихи поэта, говорили о художественной силе этих стихов, и в беглых, случайно брошенных фразах намекали на редкий ум и несравненную глубину Тютчева. В чем именно и как эти качества поэта проявились, первые его критики не объясняли.

Дать это объяснение попытался, много позднее, Владимир Соловьев.

Значение его статьи усиливается еще одним обстоятельством. Сама ли она так замечательно написана, или широкие слои общества оказались, наконец, подготовленными к достойной оценке этой поэзии, — но только именно после соловьевской статьи для Тютчева наступила пора истинного и окончательного признания.

Соловьев с ясностью и вдохновением «изложил» мирозерцание открытого им поэта.

На этом, при всех достоинствах статьи, можно было бы и не останавливаться. Ведь критик имеет главной целью: показать чужое произведение и уступить ему место в памяти читателя. Но иногда, в особо счастливых случаях (как это бывало, например, с Белинским), критику удается окружить имя поэта какой-то особой атмосферой, сквозь которую всегда или очень долгое время воспринимается его поэзия.

Сама статья уже основательно забыта, а влияние ее продолжается...

Мнение Соловьева о Тютчеве усвоили и отчасти углубили символисты, и таким, соловьевским, поэт остался, в сущности, для всех, кто пишет о его мирозерцании.

Между тем статья знаменитого философа имеет одну особенность, о которой крайне важно помнить: глубина Тютчева в ней подменена глубиной самого Соловьева.

Автор «Silentium» у автора «Трех разговоров» — мудрый, но... обезвреженный.

Эта подмена произведена бессознательно и, конечно, от любви критика к поэту. Нельзя даже сказать, что Соловьев допустил какие-либо грубые ошибки, говоря о Тютчеве. Статья, и в целом и в деталях, — интересна, глубока, вдохновенна. Но какой-то не сразу уловимый налет соловьевского оптимизма прихорашивает поэзию Тютчева. Своим, соловьевским, знанием, своей религиозной верой критик поделился с любимым поэтом, не умалив его этим, но исказив.

Между тем совпадение Соловьева и Тютчева в мироощущении не могло не быть противоестественным.

Вся история для Соловьева — процесс непрерывного осуществления Божественной правды на земле. Он твердо верит, что рано или поздно здесь настанет царство Божие, победа света над тьмой.

Блистательная схема знаменитого философа о борьбе хаоса и космоса низводит хаос до роли какого-то фона, какой-то нижней силы, которая обречена, волнуясь и прорываясь наружу, всего лишь подчеркивать, усиливать по контрасту светлую организующую силу космоса.

Все эти мысли Соловьева разбросаны и в статье о Тютчеве, причем высказаны они так, как будто философ почерпал их не в собственном своем сознании, а в тютчевских стихах.

Стихи же эти, если уж позволительно судить по ним о каком-то едином мировоззрении, — говорят другое, пожалуй, прямо противоположное всему, что проповедовал Соловьев.

Хаос в этих стихах — сила подавляющая, главная, вера отравлена сильнейшим сомнением, и в лучших строчках поэта, должно быть, глубже всего выношенных, звучат страшные слова о бессмысленности и безумии всей человеческой жизни.

В лирике вообще опасно искать единства. Настроения поэта капризны, он часто противоречит сам себе, и каждый может, подбирая цитаты по своему вкусу, представить поэта таким, каким захочется: веселым или мрачным, верующим или атеистом, добродетельным или аморальным.

Проводником к истинно главному в мироощущении поэта являются, прежде всего, его наиболее совершенные стихи.

Неправда, что прекрасные стихи «сделаны» более умело, чем посредственные; они сами сделались такими, потому что слова, образы и мысли, их составляющие, попали на самый сильный, самый последний огонь в сознании или в душе поэта. Идя по этим следам, критик редко рискует уклониться от цели своих поисков.

К сожалению, Соловьев-философ, неизмеримо более сильный, нежели Соловьев-поэт, — не всегда выбирал лучшие стихи Тютчева для развития своих положений.

Сам убежденный в какой-то высокой осмысленности процессов природы, критик Тютчева, например, с особым восторгом отметил программное стихотворение «Не то, что мните вы, природа», и построил на подробном анализе этих строчек целую философию природы, будто бы принадлежащую Тютчеву.

Соловьев и не заметил, быть может, или не хотел заметить слишком приподнятого тона этих стихов.

Само по себе отличное и примечательное, стихотворение «Не то, что мните вы, природа» все же никак не принадлежит к двум десяткам совершеннейших созданий поэта, наиболее ценных для суждения о нем.

Но, допустим, что программное стихотворение Тютчева о природе может быть ключом к мироощущению поэта. Можно ли даже тогда сделать из этих строчек выводы, сделанные Соловьевым?

И, главное, не уничтожатся ли эти выводы сразу, простым напоминанием других строчек, противоположных программным и, в скобках заметим, более сильных, чем они.

Совершенно верно, что Тютчев, как никто, чувствовал природу.

Поэт с неподдельным негодованием обличает тех, кто слепы и глухи к ней.

Но если бы можно было спросить самого Тютчева, о чем с ним-то самим «совещалась в беседе дружеской гроза», — вряд ли ответ был бы особенно утешителен для тех, кто верит в неизбежную победу света над мраком, смысла над хаосом. Слишком смутны и грозны тютчевские намеки, рассеянные в лучших его стихах о зарницах, о ночи, о всей природе в целом.

Да, конечно, она не «слепок», не «бездушный лик» для Тютчева, но этот живой лик всегда похож на загадочную голову сфинкса, «своим искусом природа губит человека», жизнь ее не совпадает, как у Соловьева, с конечными целями человеческой жизни, она, скорее, им враждебна.

И человек, от всего уставший, ищет у природы не столько поддержки, сколько забвения.

Дай вкусить уничтоженья,
С жизнью дремлющей смешай.

Даже в самом жизнерадостном из тютчевских стихотворений о природе, том, которое до слез трогало Льва Толстого, есть нота разлада.

И жизни Божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

В этих трех словах, на которые дважды падает и логическое и ритмическое ударение, — весь Тютчев.

На миг человеку дано совпасть с какими-то целями всемирной жизни, но миг этот не похищает у природы ее секрета, существование человека не озаряется впредь и навсегда этими мигами, это не откровения, знакомые Соловьеву, или, точнее, это — не те откровения.

Чувства просветленной веры в торжество смысла над хаосом, того чувства, которое незримо и зримо разлито в соловьевской статье о Тютчеве, сам поэт у непредвзятого читателя, думается, не вызовет.

Странный вывод невольно хочется сделать из статьи Соловьева. Да, он читатель предвзятый, но, отчасти, мы благодарны ему за это.

На фоне философской системы Соловьева особенно разительным становится все отрицательное обаяние тютчевской лирики.

В ней концы с концами не сведены, в ней противоречий столько, сколько во всех подлинных стихах, от всех теорий, от всех миропониманий она, в конце концов, камня на камне не оставляет.

Говоря о философии Тютчева, можно, конечно, подразумевать под этим ту атмосферу, которую он своими стихами создаст и внушает.

Но тогда уж лучше не вводить в эту атмосферу никаких посторонних лучей и не бояться того, что сильнейшее в тютчевской лирике — не против хаоса и бессмыслицы нашей жизни, а — с ними.

И, все-таки, читатель, без вспомогательного оптимизма великих или малых «разъяснителей» Тютчева, — чувствует что-то светлое в его поэзии.

Чувство это, приблизительно, такое, какое можно вообразить у очень одинокого человека, который бы предполагал, что он один до последней степени боится не только смерти, но и жизни, — и вдруг узнал бы, что тем же самым ужасом одержимы и многие другие люди.

Он испытывает благодарность к этим родственным душам и облегчение. Его ужас, кем-то разделенный, уменьшается.

Не в этом ли светлое значение страшной, по существу, поэзии Тютчева?

Допустив, что в мире нет цели и в жизни нет смысла, человек сошел бы с ума, если бы не знал, что и другие люди допускают то же самое, а вот... живут же.

Строчки:

Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе, —

и другие строчки, подобные этим, потому и привязывают к Тютчеву, что он сумел самое страшное и, что скрывать, всем знакомое чувство выразить недвусмысленно и навсегда.

Пока человек обречен не знать, а только смутно догадываться о цели своей жизни, — ночная (сильнейшая) сторона тютчевской лирики будет утешать его не меньше, чем стройная и оптимистическая философия Соловьева.

Утешать, правда, совсем другим способом: не пытаюсь избавиться от страха перед смертью, вселенной и жизнью, но зато до конца разделяя его.

Говоря о великих поэтах и не желая повторять уже сказанного о них, невольно вступаешь в спор с тем или другим из критиков. Читателю и самому пишущему приятнее непосредственные впечатления, украшенные к тому же цитатами из стихов. Но что же делать — лирика поэта окружена целым миром догадок и мыслей о ней и, передавая свое к ней отношение, иногда

полезнее всего оттолкнуться от чужих суждений, особенно если они живы и властны. Но вот, уже без спора с другими критиками, несколько замечаний о поэзии Тютчева и, прежде всего, о наименее выигрышных и наименее исследованных ее сторонах. Кажется, бесспорно, что слабее всего политические стихи Тютчева и что меньше всего писалось до сих пор о любовной его лирике.

Что можно сказать в защиту политических стихов Тютчева? Прежде всего — все ли в них объяснимо его официальными взглядами, близостью к славянофилам, государственной службой и т. д.? В худших — да, но не в лучших.

Такую пронизательность, как тютчевская, не могли притупить даже злободневные темы и даже программное их разрешение. Мало кто из современников понял лучше его неизбежность революции.

Трудно даже утверждать, что он не сочувствовал ей хотя бы немного.

Во всяком случае, ни монархия, официально Тютчеву близкая, ни республика, которую он почти проповедовал в конце жизни, — не были главным предметом его политической мысли.

Не схема государственного устройства, а «темное, неразгаданное, ночное», таившееся под событиями девятнадцатого века, — по-настоящему волновало Тютчева.

Какие-то силы, неудержимо и глухо потрясавшие Россию изнутри, — были ему явственно слышны, как Достоевскому.

«Меня удивляет одно в людях мыслящих, — писал Тютчев, — что они еще недовольно вообще поражены апокалиптическими признаками приближающихся времен. Этот таинственный мир, быть может, целый мир ужаса, в котором мы вдруг очутимся, даже и не приметив этого перехода».

Но Тютчев был дипломат, государственный деятель, патриот.

В каждой из этих ролей нужна официальная нота. В жизни она удавалась Тютчеву.

В поэзии она утратила свою убедительность.

Да и могло ли быть иначе?

Поэт, сомневавшийся в смысле всего существования, не мог быть до конца уверен в смысле каких бы то ни было военных походов, каких бы то ни было дипломатических и даже национальных проектов. Без доли ложного пафоса стихи этого порядка не создаются. Приподнятый и какой-то не по-тютчевски безапелляционный тон большинства этих стихотворений выдает их происхождение.

Все, однако, меняется, даже здесь, даже в политических стихах, когда Тютчев прикасается не к поверхности события, а к стихии, скрытой за ним.

Перечитайте хотя бы стихотворение «На новый 1855 год». Многое в нем от лучшего, глубочайшего Тютчева.

Слова и намеки напряженны, тревожны. Атмосфера, внушаемая Тютчевым, такая, как если бы он писал о каком-либо грозном явлении природы. Заботы о преходящем, расчеты политика и дипломата уступили место «инстинкту пророчески-глухому». Тютчев обмолвился в этих стихах даже прямым предсказанием (тогда же сбывшимся) о смерти Николая I и военном разгроме России.

Уже одних этих строчек довольно для реабилитации политических стихов поэта, уступающих другим его стихам, но неотъемлемых от его творчества.

Говоря о стихах Тютчева, посвященных любви, приходится снова задеть критика, об этом писавшего, — Валерия Брюсова.

Для Брюсова Тютчев был поэтом страсти, а не любви. Но если вникнуть в брюсовское определение страсти, можно с уверенностью сказать, что он ошибался, находя такое же чувство у Тютчева.

Обладание женщиной, желания, распаленный малейшим сопротивлением, составляют для Брюсова главное в страсти. У Тютчева он, естественно, заметил то, что нашел родственным себе: любовь как «поединок роковой».

Но поединок этот сопровождался и другими чувствами, Брюсову чуждыми. Их вплетение в страсть изменяет ее случайный и внешне-бурный характер, делая ее болезненно-впечатлительной, трагической и глубокой. Разница между такой страстью и любовью, самой возвышенной, поминутно стирается, печальная развязка, предсказанная с самого начала неравенством любящих и борющихся, влечет к себе неудержимо обоих. Это скольжение любви и невозможность удержать ее на краю бездны, это растущее с каждым годом сожаление о неминуемой гибели одного из двух, гибели, увы, по вине другого, этот, за невозможностью изменить себя и спасти друг друга, заранее прочувствованный взрыв позднего раскаяния над могилой, — вот приблизительная ткань лучших стихов Тютчева, посвященных его последней любви. Они писались, точнее, переживались до смерти Денисьевой, почти все они записаны, когда ее не стало.

Как ни грубы, как ни наивны отзывы Писарева о русской поэзии, их нельзя выбросить из истории русской культуры².

То, что он требовал от поэта, вовсе уж не так бессмысленно, хотя лучшая поэзия почти не способна на такие вопросы отвечать. В сущности, устами Писарева русское общество требовало от поэта героизма. И не виноват поэт, как не виноват Писарев, что передовые люди того времени видели героизм только в борьбе за идеалы политические. Эпоха великих реформ и все, что за ней последовало, все это напряжение борьбы между старым и новым в России как будто такой взгляд оправдывают.

Понадобилось много времени, длительный курс побед и разочарований, чтобы и другой героизм, внеобщественный, снова был оценен по заслугам.

С русской интеллигенцией давно уже стало происходить то, что особенно заметно сейчас в эмиграции на людях передовых политических партий: их социальные идеалы приобрели постепенно какой-то более вечный, более глубокий фон.

Косвенно это проявилось уже давно, приблизительно в девятидесятых годах, когда интересы философов, религиозные и вопросы отвлеченного от злобы дня искусства стали занимать все более широкий круг людей. Тогда-то и наступило время для настоящей оценки Тютчева. Его поэзия, конечно, заслужила писаревский упрек. «Презрение к суете земли» — одна из тем этой лирики.

Собственно, фраза Писарева — о Пушкине, даже, как сам критик выразился, «о Пушкиных». Но это не важно. Если бы Тютчева уже тогда разглядели, и он возмутил бы Писарева.

Достаточно строчек:

Ты к людям, ключ, спешишь в долину,
Попробуй, каково у них, —

чтобы во многом обвинить Тютчева. В них (да и не в одних этих строчках, почти во всей тютчевской лирике) — отказ от борьбы за лучшую жизнь, недоверие к попыткам что-либо в сердце человеческого изменить и, если угодно, в них есть даже эгоистическое стремление оградить себя от лишних страданий, неизбежных там, в долине.

Да, Писарев прав. Если не считать двух-трех исключений (Некрасов, Блок, немножко Лермонтов), тема общественного героизма не так уж близка русской лирике.

Тютчев с последней ясностью напоминает зато о другом героизме.

Конечно, преступить какой-то предел в государстве и обществе бывает иногда необходимо и опасно для преступающего.

Не так ли и в других областях: преступить какие-то пределы, кем-то поставленные для ума и души человека, — грозит ему безумием, разрушает возможность личного благополучия, вводит для него задолго до срока лучи хаоса и смерти в природу, в самое существование мыслителя или поэта. Но он на это идет.

1930

